44 уровень

ИСТОРИЯ ЖИЗНИ



Сергей Z

Сергей Z

44 уровень

«Автор»
2026

Z C.

44 уровень / C. Z — «Автор», 2026

Жизнь похожа на игру, в которой никто не объясняет правила заранее. Каждый новый этап приносит свои испытания, неожиданные встречи, ошибки и открытия.В этой книге — путь от детства через непростые подростковые годы в 90-ых до моря, дальних стран, профессии, любви и отцовства. Истории о людях, которые встречались на пути, о выборе, ответственности, свободе и о том, как постепенно меняется взгляд на мир.Честный рассказ о том, что формирует человека, что остаётся с ним на долгие годы и почему даже после сорока четырёх уровней впереди всё ещё столько интересного.Игра продолжается.

© Z C., 2026
© Автор, 2026

Сергей Z
44 уровень

А дальше было интересно.

ЧАСТЬ
I
Дом, в котором тебя любили

Наверное, мне очень повезло с самого начала.

Тогда я этого, конечно, не знал. Ребёнок вообще редко понимает, что ему повезло. Он не сравнивает свою жизнь с другими и не пытается определить, насколько правильно устроен его мир. Он просыпается утром, бежит на кухню, спорит с сестрой, играет, ждёт возвращения папы и совершенно уверен, что люди, которых он любит, завтра будут рядом.

Мне казалось, что так живут все.

Некоторые вещи в детстве кажутся совершенно обыкновенными и только спустя годы становятся подарком на всю жизнь. Я очень хорошо помню нашу первую квартиру. Я прожил там шестнадцать лет, и память сохранила комнаты, длинный коридор, небольшую кухню, мебель, вид из окна, домашние звуки и множество мелочей, которым тогда не придавал никакого значения. Это была самая обычная трёхкомнатная хрущёвка, каких вокруг стояли тысячи: небольшая кухня, простые комнаты, невысокие потолки, двор за окном. Зимой двор становился белым, летом с самого утра наполнялся детскими голосами, а вечером окна соседних домов одно за другим зажигались тёплым жёлтым светом.

Мне, разумеется, не приходило в голову оценивать площадь квартиры, качество ремонта или стоимость мебели. У ребёнка вообще довольно странная система ценностей. Огромная картонная коробка иногда интереснее дорогой игрушки, лужа важнее красивой площади, а несколько свободных метров под столом вполне могут оказаться прекрасным домом.

Наш настоящий дом тоже измерялся не метрами.

Я младший из троих детей. Мой старший брат родился инвалидом, и уже тогда я понимал, что он отличается от других людей, хотя, конечно, ещё не мог объяснить это словами. Но была одна удивительная вещь: за всё моё детство мы ни разу не ссорились. Сейчас это кажется почти невероятным, потому что дети постоянно что-то делят, спорят, выясняют отношения и проверяют друг друга на прочность. Между нами всё было иначе. Мы могли часами находиться рядом, заниматься каждый своим, разговаривать или просто молчать, и этого было достаточно.

С сестрой всё происходило немного иначе. Мы спорили гораздо чаще, иногда из-за таких пустяков, которые в тот момент казались вопросами государственной важности. Могли обижаться друг на друга, громко отстаивать свою правоту и искренне верить, что больше никогда в жизни разговаривать не будем. Потом кому-нибудь приходила в голову новая игра — и выяснялось, что вечная вражда закончилась. Детские обиды вообще плохо умеют жить долго, ведь вокруг слишком много всего интересного.

У мамы и папы был совершенно разный ритм жизни.

Мама наполняла дом движением. До сих пор остаётся почти необъяснимым, как один человек мог успевать столько всего одновременно. Она постоянно что-то придумывала, организовывала, готовила, шила, вязала, помогала, объясняла, утешала и учила. Вокруг неё всегда происходило множество событий, но в этом движении не было суеты. Некоторые люди обладают редким талантом создавать уют даже тогда, когда на их плечах держится половина мира. Мама была именно таким человеком.

Особенно хорошо мне запомнились тихие домашние вечера. За окном постепенно темнело, на кухне пахло ужином или чем-нибудь сладким, что мама пекла по выходным. В комнате горела лампа, по телевизору шла какая-нибудь передача, которую никто особенно не смотрел, а мама сидела возле окна со спицами в руках и вязала мне свитер или ещё что-нибудь, что вскоре должно было стать частью нашей жизни. Спицы тихо постукивали друг о друга, сестра смеялась, брат слушал, мы наперебой что-то рассказывали, а мама каким-то образом успевала отвечать всем сразу.

Мне нравился этот вечерний свет.

Он ничего не означал. За окном было темно, а дома — светло.

И мир был устроен правильно.

Папин ритм был другим. Он был капитаном дальнего плавания и уходил в море на несколько месяцев, иногда почти на год. Море тогда существовало для меня прежде всего как место, куда уезжал папа. Оно было где-то далеко — за картой, за горизонтом, за пределами моего детского мира. Там были корабли, чужие страны, порты и множество вещей, которых я никогда не видел.

Но папу мы ждали.

Удивительно, насколько сильно можно чувствовать присутствие человека, которого физически нет рядом. Он был далеко, а всё равно оставался частью дома. Его отсутствие имело почти такое же очертание, как его присутствие: мы знали, где он находится, когда должен позвонить, когда вернётся и сколько ещё времени осталось до того дня, когда дверь снова откроется.

Когда папа возвращался, квартира словно становилась немного просторнее. Не потому, что он говорил громче других или старался быть в центре внимания. Совсем наоборот. В нём была спокойная уверенность человека, привыкшего принимать решения и отвечать за них. Он редко повышал голос, почти никогда не ругался и не любил громких разговоров, но его мнение всегда имело вес.

Я помню его глаза.

Очень добрые.

Тогда я, конечно, не рассуждал о характере человека по его взгляду. Я просто знал: папе можно верить.

Доверие вообще появляется раньше, чем человек узнаёт само слово.

Возвращаясь с работы, он входил в квартиру вместе с сумками, морскими историями, необычными вещами из далёких стран и каким-то особенным настроением, которое приходило вместе с ним. Мы начинали говорить одновременно. Каждый хотел что-то рассказать, показать, объяснить, пожаловаться или похвастаться. А папа слушал — спокойно и внимательно, так, будто ничего важнее наших детских рассказов в эту минуту не существовало.

Я любил сидеть тихо и смотреть. Как общаются взрослые. Как меняется лицо человека после хорошей новости. Как по-разному ведут себя люди дома и в гостях. Как один и тот же вопрос вызывает совершенно разные ответы. Почему кто-то смеётся там, где другой сердится. Почему один говорит много, а другой почти всё время молчит.

Я не пытался делать выводы.

Мне просто было интересно.

Если взрослые спорили о чём-нибудь, мне часто было интереснее слушать, чем принимать чью-то сторону. Один говорил уверенно — и казалось, что он прав. Потом отвечал другой — и вдруг оказывалось, что у него тоже есть основания так думать.

Как же они могут быть правы оба?

Этот вопрос нравился мне гораздо больше готового ответа.

Мир понемногу становился сложнее.

И от этого ещё интереснее.

Я довольно рано научился читать и быстро обнаружил, что книги интересуют меня гораздо больше многих игрушек. Иногда квартира становилась совсем тихой, и я открывал очередную книгу, словно дверь в новый мир. Там были путешественники, капитаны, учёные, исследователи; люди отправлялись туда, где никогда раньше не были, попадали в неприятности, делали открытия, ошибались и находили выход.

Мне нравилось не знать, что будет на следующей странице.

В этом и заключалась половина удовольствия.

Книга позволяла прожить ещё одну жизнь, не выходя из комнаты.

Чем больше я читал, тем сильнее меня удивляло, сколько разных миров может существовать одновременно. В одном доме. В одном городе. На одной планете.

Иногда, когда я заканчивал читать, было уже поздно. Телевизор становился тише, на кухне заканчивались последние разговоры, где-то за окном проходил поздний троллейбус. Сестра уже спала. Брат тоже. Я лежал в своей кровати и слушал знакомые звуки: шаги родителей, негромкие голоса, звон посуды, скрип двери.

За стенами квартиры существовал огромный мир, о котором я почти ничего не знал. Там были моря, в которые уходил папа. Страны из его рассказов. Люди, которых я никогда не встречал. Книги, которые ещё не прочитал. Вопросы, которые ещё не успел задать.

А пока весь мой мир помещался здесь.

В трёхкомнатной хрущёвке.

С мамой, папой, братом и сестрой.

С запахом ужина.

Со стуком маминых спиц.

Со светом в окне.

Мне казалось, что ничего плохого ну никак не может случиться.

Потому что в детстве любовь воспринимается такой же естественной и надёжной, как восход солнца.

Ты ещё не знаешь, насколько это редкий подарок.

Ты просто живёшь внутри него.

Порядок вещей

Какое-то время у меня было два дома.

Один — там, где жили мама, папа, брат и сестра, где я ходил в детский сад и откуда начиналась обычная жизнь нашей семьи.

Другой находился на противоположном конце Риги.

Там жили бабушка Маша и дед Лёша.

Я не переехал к ним насовсем. Жил у бабушки и дедушки тогда, когда это было возможно. В этом не было ничего необычного. Мне не приходило в голову решать, какой из домов настоящий. Настоящими были оба.

Дорога между ними занимала почти час. Нужно было ехать на автобусах, ждать на остановках, иногда пересаживаться и смотреть в окно, пока одни улицы сменялись другими, знакомые дома исчезали, а потом появлялся район, где всё снова становилось знакомым.

Для ребёнка час дороги — уже путешествие.

А в конце путешествия была квартира бабушки и дедушки.

Я хорошо помню её до мелочей: комнаты, мебель, обои, небольшую кухню, расположение вещей. Но сильнее всего запомнился порядок.

Там было идеально чисто. Не просто убрано или аккуратно. А идеально.

Каждая вещь лежала на своём месте. Книги стояли ровными рядами. Посуда была расставлена так, словно её только что приготовили для фотографии. Полы блестели, а сама квартира казалась удивительно спокойной и упорядоченной.

Бывало, бабушка, занимаясь своими делами, вдруг совершенно спокойно произносила:

— Ты у меня любимчик.

И продолжала делать то, что делала, словно сообщила не своё мнение, а давно установленный факт, который не нуждался ни в обсуждении, ни в доказательствах.

Я воспринимал это совершенно серьёзно. Если бабушка сказала, что я любимчик, значит, так оно и есть.

Более того, в этом звании чувствовалась какая-то ответственность. Раз уж тебя объявили любимчиком, надо было каким-то образом ему соответствовать.

У бабушки было всего четыре класса образования. Война и тяжёлая жизнь редко оставляли людям её поколения возможность долго учиться. Дипломов у неё почти не было, а мудрости было столько, что мне хватило её слов на десятилетия.

Она вообще умела объяснять сложные вещи просто.

Помню нашу небольшую кухню. Стол, покрытый клеёнкой. Чашки с горячим чаем. Сахарницу, которая всегда стояла на одном и том же месте. Бабушкины руки. И себя, сидящего рядом с детской книжкой и складывающего буквы в слова.

Иногда получалось быстро. Иногда нет.

Я мог начать торопиться, ошибаться и сердиться на самого себя. Бабушка не торопилась никогда. Она ждала, объясняла ещё раз, а если было нужно — ещё и ещё.

Никто не говорил мне, что чтение — важнейший навык, который однажды откроет передо мной огромный мир. Никто не рассказывал о пользе книг и необходимости самообразования.

Мы просто сидели на кухне. Бабушка пила чай. А я учился читать.

За этим столом книги и вошли в мою жизнь по-настоящему. Дверь открылась на маленькой кухне бабушки Маши, а что было за ней, мне ещё только предстояло узнать.

Бабушка любила короткие и очень точные фразы.

— Слова — это инструмент, — говорила она. — Если не умеешь ими пользоваться, тебя будут водить за нос.

Некоторые слова ребёнок понимает сразу. Другие остаются где-то внутри и ждут своего времени.

Однажды я спросил её о слове, которое часто слышал от взрослых:

— Бабушка, а порядочный человек — это тот, кто любит порядок?

Она оторвалась от своих дел и посмотрела на меня с улыбкой.

— Да. Только порядок бывает разный.

Я задумался.

— Как это?

Она немного помолчала, словно искала слова, которые мне будут понятнее.

— Конечно, порядочный человек любит порядок дома. Любит, когда вещи лежат на своих местах, когда всё чисто и аккуратно. Но это не самое главное.

Я слушал.

— Самый важный порядок должен быть в поступках, в словах и в отношениях с людьми. Если человек сегодня говорит одно, завтра другое, а послезавтра забывает свои обещания, то какая разница, насколько чисто у него дома?

Я посмотрел вокруг.

На чистый стол, на сахарницу, которая всегда стояла на своём месте, на аккуратно расставленные вещи.

А порядок, оказывается, существовал не только в квартире.

Эту мысль я запомнил.

О добре и зле бабушка говорила так же спокойно, как о погоде или о том, что нужно купить в магазине. Она не читала нравоучений и не пыталась придать своим словам особенную важность.

Однажды я спросил:

— Бабушка, а добро действительно возвращается?

Она даже не задумалась.

— Конечно.

— Всегда?

— Всегда.

Потом немного помолчала и добавила:

— Только редко оттуда, откуда ждёшь.

Мне понравилось.

— А зло тоже возвращается и тоже не сразу?

— Нет, — сказала она и улыбнулась. — Обычно гораздо быстрее.

Для неё это были не философские теории, а просто порядок вещей.

Если бабушка учила меня словам и каким-то своим законам жизни, то дед Лёша учил совершенно другому.

Он учил смотреть.

Высокий, спокойный и немногословный, он принадлежал к тем людям, рядом с которыми не нужно постоянно разговаривать, чтобы чувствовать их присутствие.

Мы часто ходили гулять. Иногда в парк, иногда просто по улицам, иногда сворачивали на дорожки, которые для меня выглядели неведомыми тропами, ведущими неизвестно куда.

Я видел дерево. Дед видел гораздо больше.

Он мог остановиться, посмотреть на ветви, на кору, на землю вокруг. Обратить моё внимание на птицу, которую я бы не заметил, на её движения, на гнездо среди веток. Замечал старый след шин, направление ветра, странно сломанную ветку или ещё какую-нибудь мелочь, мимо которой я уже успел пройти.

— Не торопись, — говорил он. — Посмотри внимательно.

И мы смотрели.

Самое интересное происходило потом — мир становился больше.

Дерево оставалось тем же деревом, но в нём вдруг обнаруживались рисунок коры, движение ветвей, насекомые, старые повреждения, тень, листья, шевелящиеся от ветра. Птица переставала быть просто птицей — у неё появлялись повадки, осторожность, свой способ двигаться и смотреть вокруг.

Обычная прогулка превращалась в исследование, и для этого не требовалось ехать на другой конец света: иногда достаточно было остановиться и посмотреть внимательнее.

Дед учил меня рисовать примерно так же.

Однажды он показывал мне, как рисовать дом.

Не тот детский квадратик с треугольной крышей, который безошибочно обозначает дом на тысячах детских рисунков, а настоящий деревянный дом: с круглыми брёвнами на углах, с окнами, занавесками и трубой на крыше.

У деда получалось красиво.

У меня — не очень.

Но он не исправлял мой рисунок своей рукой и не пытался заставить меня точно повторять за ним.

— Не рисуй предмет, — говорил дед. — Рисуй то, как ты его видишь.

— А если неправильно?

Он усмехался.

— Если увидел — значит правильно.

Мне нравилась эта свобода.

Один и тот же дом два человека могли увидеть по-разному, и оба рисунка оставались настоящими.

А ещё мы играли в шашки. И почти всегда выигрывал дед.

Я придумывал хитрые комбинации, строил планы на несколько ходов вперёд, радовался особенно удачным решениям и уже представлял себе победу.

Потом дед двигал шашку и выяснялось, что всё пошло совсем не так.

— Думай наперёд, — говорил он.

— Я думаю.

— Нет, Серёжа. Пока что ты надеешься.

И делал следующий ход.

Перед сном у квартиры появлялся другой ритм.

Бабушка заканчивала свои дела на кухне, дед мог читать газету или разгадывать кроссворд, а я ждал «Спокойной ночи, малыши».

Передача была короткой, но для меня значила гораздо больше нескольких минут перед телевизором. Там были знакомые герои, знакомые голоса, а в конце звучала колыбельная про игрушки и книжки, которым тоже пришло время спать.

Это был совершенно понятный сигнал — день закончился.

Можно было ещё немного потянуть время, придумать какое-нибудь срочное дело, попросить воды или внезапно вспомнить вопрос, который почему-то обязательно требовал ответа именно сейчас.

Но порядок вещей был установлен давно и, судя по всему, без моего участия.

Нужно было ложиться спать.

Я забирался в кровать, и квартира становилась совсем тихой. Где-то ещё звякала посуда, негромко разговаривали бабушка с дедушкой, тикали часы.

Мне нравилось лежать и слушать эти звуки.

Когда ты маленький, тишина бывает разной. Бывает такая, в которой страшно, а бывает такая, в которой всё хорошо.

Эта была такой.

Никто не объяснял мне, что бабушка и дед отдают мне своё время. Бабушка могла сколько угодно повторять одно и то же, пока я не пойму. Дед мог остановиться посреди прогулки и ждать, пока я наконец замечу то, что он увидел сразу. Они отвечали на вопросы, читали со мной, рисовали, играли в шашки, гуляли.

Утром жизнь снова начиналась. Вещи находились на своих местах, сахарница стояла там, где ей полагалось, бабушка занималась делами, дед замечал что-нибудь, чего ещё не заметил я, а впереди был новый день.

В той маленькой идеально чистой квартире мой мир одновременно становился больше и оставался безопасным.

В нём были книги, которых я ещё не прочитал. Слова, смысл которых ещё предстояло понять. Дорожки, по которым мы ещё не прошли. Вещи, которые можно было увидеть, если не торопиться. Вопросы, на которые не всегда существовал один ответ. И люди, у которых находилось для меня время.

Всё оказывалось на своих местах.

Чашки — на кухне, книги — на полках, шашки — в коробке.

Бабушка Маша занималась своими делами, дед Лёша сидел рядом, а я открывал книгу.

Тогда мне казалось, что так устроен мир. Что в нём есть порядок.

Не тот, при котором сахарница всегда стоит на одном месте. Другой.

Тот, в котором рядом есть люди, способные научить тебя прочитать слово, увидеть дерево, нарисовать дом таким, каким видишь его ты, подумать на один ход дальше и отличить обещание от пустых слов.

Некоторые нити уже были протянуты.

Я просто пока их не видел.

А я в тумбочке сидел

Зимой дети в нашем дворе немного напоминали космонавтов.

Сначала на ребёнка надевали всё необходимое для выживания в суровом климате: тёплые штаны, свитер, носки, ещё что-нибудь тёплое, потом пальто или дублёнку, шапку, шарф, варежки и сапоги.

К середине этого процесса ребёнок уже терял способность свободно двигаться.

К концу одевания руки уже плохо сгибались, голову можно было поворачивать только вместе со всем туловищем, а попытка самостоятельно застегнуть что-нибудь на себе становилась почти бессмысленной.

Зато теперь тебя можно было выпускать на улицу.

И мы выходили.

Зимы тогда были настоящими: снежными, холодными, с сугробами, морозом и снегом, который скрипел под ногами. Через несколько минут щёки становились красными, дыхание превращалось в пар, а варежки каким-то непостижимым образом всё равно намокали, сколько бы слоёв одежды на ребёнка ни надели.

Во дворе всегда кто-нибудь был.

Дети играли, бегали, бросались снегом, таскали санки и занимались множеством дел, совершенно необходимых в детском возрасте и абсолютно бесполезных с точки зрения взрослых.

Рядом с маленьким магазином с большим тёмным окном была горка. Бабушка называла этот магазин «Телевизором» из-за огромного затемнённого стекла.

Горка была метров пять высотой.

Сегодня пять метров не кажутся чем-то особенно впечатляющим.

Тогда это была гора.

Мы с бабушкой поднимались наверх с санками. Потом я садился, отталкивался и летел вниз.

Снег.

Ветер.

Красные щёки.

Санки подпрыгивают.

Земля несётся навстречу.

Внизу я требовал:

— Ещё!

И мы снова тащили санки наверх.

Если маленький космонавт падал в снег, возникала отдельная проблема. Лежать было мягко и даже приятно, но количество одежды иногда не позволяло без посторонней помощи вернуться в вертикальное положение. Приходилось барахтаться, переворачиваться, искать точку опоры или ждать, пока кто-нибудь поднимет тебя за руку.

А потом снова бежать.

Во дворе выбивали ковры.

Для этого существовали специальные металлические конструкции. Летом взрослые развешивали на них огромные ковры и долго, старательно выбивали из них пыль. А зимой ковры выносили прямо на снег.

После них на белом дворе оставались большие грязные прямоугольники.

Мне они почему-то хорошо запомнились.

Белый двор — и вдруг посреди него чёрное пятно размером с ковёр.

Но проходило совсем немного времени, выпадал новый снег, и утром никакого прямоугольника уже не было.

Снова белый двор.

Свежий пушистый снег.

И следы детей, которые успели выбежать первыми.

Двор вообще был продолжением дома.

Мы не воспринимали улицу как какое-то отдельное пространство, куда ребёнок обязательно должен выходить в сопровождении взрослого. Дети гуляли сами. Играли в мяч. Убегали куда-то по своим делам. Заходили друг к другу. Возвращались, когда проголодаются, замёрзнут или когда из окна раздавался знакомый голос.

Двери часто не запирали.

Детский мир был безопасным.

По крайней мере, мы так его чувствовали.

Можно было просто выйти из дома.

И идти.

Однажды недалеко от нас начали прокладывать трамвайные рельсы.

Само строительство уже было интересно. Появлялось что-то новое, менялась знакомая улица, а потом наступил день, когда по новым рельсам пошёл трамвай.

Номер пять.

Новый.

Блестящий.

Красивый.

Мы с бабушкой поехали на нём.

Не знаю, насколько важным событием запуск нового трамвайного маршрута был для Риги, но для меня в тот день он был событием совершенно точно.

Новый трамвай ехал по новым рельсам, за окном проплывал знакомый город, а мы с бабушкой куда-то ехали по своим важным делам.

И в тот день мне купили новые ботиночки.

Новый трамвай.

Новые ботиночки.

День определённо удался.

Весной снег исчезал, двор менялся, Слоёв одежды становилось меньше, подвижности — больше, и мы уже не так походили на космонавтов. В общем, жизнь становилась легче.

А с первыми тёплыми днями появлялось оно — мороженое.

Пломбир в вафельном стаканчике.

Сливочный, холодный, совершенно простой.

Его надо было есть достаточно быстро, потому что оно начинало таять, стекать по пальцам и превращать удовольствие в небольшую борьбу со временем. Можно было облизывать мороженое, стаканчик и пальцы, стараясь не потерять ни капли.

В детстве вообще многие хорошие вещи были очень простыми: горка, санки, новый трамвай, новые ботиночки, мороженое.

А потом приходило лето.

И появлялась дача.

Там привычный уклад жизни менялся. Не было двора, окружённого домами. Было пространство, трава, деревья, земля, длинный светлый день и ощущение, что впереди ещё огромное количество времени.

Однажды родители привезли на дачу собаку, кошку и кролика.

Для нас это было огромное и радостное событие.

В мире появились сразу три новых существа, за которыми можно было ходить, наблюдать, которых можно было гладить, звать, кормить и пытаться понять, чем они вообще занимаются, когда считают, что люди за ними не смотрят.

Кролик остался с нами ненадолго. Потом его пришлось отдать соседям, но из нашей жизни он не исчез. Он прожил у них ещё много лет, а мы ходили его навещать.

А собака и кошка подружились.

Причём довольно быстро выяснилось, что дружба у них была не только эмоциональной, но и вполне практической.

Кошка умела запрыгивать на стол.

Собака — нет.

Если на столе оставалось что-нибудь съедобное и людей рядом не было, кошка пользовалась своим преимуществом. Но прежде чем приступить к еде самой, она сбрасывала вниз кусок колбасы собаке.

Потом ела сама.

Справедливость была восстановлена.

Что происходило в голове у кошки? Возможно, там существовала сложная система распределения ресурсов. Возможно, собака каким-то образом участвовала в операции. А может быть, кошка просто считала совершенно естественным сначала поделиться с другом.

Мне больше нравится последняя версия.

Лето вообще располагало к совместным операциям.

Нас было трое детей — брат, сестра и я. Но иногда к нам приезжала двоюродная сестра, примерно одного возраста с моей сестрой.

И расстановка сил менялась.

Обычно главным специалистом по различным затеям был я. Это имело неприятное побочное следствие: если в доме происходило что-нибудь подозрительное, у взрослых существовала вполне обоснованная версия, с кого начинать расследование.

Но когда приезжала двоюродная сестра, девочки объединялись.

Возникала коалиция.

А две девочки, объединённые общей идеей, могли оказаться значительно опаснее одного меня.

Однажды взрослым понадобилось ненадолго уйти, и мы остались одни.

Девочки что-то задумали.

Что именно произошло потом, я уже точно не помню. Кажется, каким-то образом пострадало зеркало. Возможно, его изрисовали. Но утверждать не буду.

Зато дальнейшие события я помню прекрасно.

Я оценил ситуацию.

Во-первых, девочки явно собирались сделать что-то такое, что взрослым не понравится.

Во-вторых, моя предыдущая репутация совершенно не гарантировала справедливого расследования.

В-третьих, когда мама и тётя вернутся, спрашивать, скорее всего, начнут с меня.

Необходимо было обеспечить алиби.

Решение нашлось быстро.

Я залез в тумбочку.

И сидел там.

Что происходило снаружи, меня теперь не касалось. Девочки могли осуществлять свой план, зеркало — подвергаться неизвестным испытаниям, история — развиваться в любом направлении.

Я находился в тумбочке.

Когда взрослые вернулись, последствия детской самостоятельности быстро были обнаружены.

Началось расследование.

И, как я и предполагал, вопросы появились ко мне.

Но на этот раз я был готов.

— Я ни при чём.

Подозрение, видимо, осталось.

И я предъявил главный аргумент:

— А я в тумбочке сидел!

С моей точки зрения, дело было закрыто.

Фраза пережила саму историю.

Мы давно забыли, что сделали девочки. Исчезла та квартира, мы выросли, изменился двор, по городу пошли совсем другие трамваи. А «я в тумбочке сидел» осталось в семье ещё на много лет.

Стоило кому-нибудь слишком уверенно доказывать, что он ни при чём, как спорить уже не было смысла.

— Ну конечно! Ты в тумбочке сидел.

Двадцать один день

А потом я заболел.

Мне было три года. До четвёртого дня рождения оставалось чуть больше трёх недель.

Мир, который ещё недавно состоял из дома, двора, снежной горки, бабушки, санок и множества совершенно необходимых детских дел, вдруг стал размером с больничную палату.

И окно.

Окно я помню очень хорошо.

Оно выходило в больничный двор. Там росли деревья, ходили люди в белых халатах, иногда проезжала машина. Ничего примечательного. Самый обычный двор, на который никто не обращает внимания.

Но я не мог туда выйти.

И поэтому за стеклом находился целый мир.

Можно было смотреть, как кто-то идёт по дорожке, и гадать, куда он направляется. Следить за машиной, пока она не исчезнет из виду. Рассматривать деревья. Ждать, что во дворе произойдёт хоть что-нибудь.

А потом ждать другого.

По утрам больница просыпалась. Кто-то ещё спал, кто-то уже ворочался в кровати, в коридоре появлялись голоса и шаги медсестёр.

А потом открывалась дверь.

Первой входила моя бабушка.

Так было каждое утро, и для меня в этом не было ничего необычного. Бабушка должна была появиться — и появлялась.

Я не знал, во сколько она вставала, сколько занимала дорога через полгорода и как рано ей приходилось садиться в автобус, чтобы оказаться у больницы к началу посещений. Только потом я узнал, что посетителей пускали с семи утра.

Бабушка приезжала к семи.

Двадцать один день подряд.

Если тебя любят — к тебе приходят.

У бабушки всегда было что-нибудь для меня, но каким-то образом находилось и для других детей: конфета, яблоко, печенье, ещё какая-нибудь мелочь. Она разговаривала с медсёстрами, детьми, людьми в коридоре. В больнице её, кажется, знали все. Возможно, она обладала редким умением разговаривать с человеком так, что тот быстро переставал быть чужим.

Мама тоже приходила часто и приносила домашнюю еду. Больничную нам, конечно, давали каждый день, но от неё почти ничего не осталось в памяти. А стоило развернуть принесённый мамой свёрток, как среди незнакомых больничных запахов появлялся свой — знакомый. И палата на несколько минут становилась другой: где-то совсем рядом будто возникали наша кухня, стол и обычная жизнь, из которой я ненадолго выпал.

Три недели для взрослого человека могут пролететь почти незаметно. В три года время устроено иначе. Один день — уже очень много, а двадцать один день способен вместить целую маленькую жизнь.

Особенно если по утрам делают уколы.

Уколов я не любил.

Медсестёр было много. Они разговаривали с нами, улыбались, что-то спрашивали, пытались отвлечь и вообще проявляли завидное терпение. Но стоило появиться шприцу, как любые переговоры теряли смысл.

Я протестовал как мог.

Где-то тогда я услышал от взрослых красивое и совершенно непонятное слово — дипломатия. Мне объяснили, что это умение договариваться, и слово мне понравилось. Правда, отношения с медсёстрами быстро показали, что дипломатия работает не всегда.

Они объясняли, что укол необходим.

Я объяснял, что мне он совершенно не нужен.

Аргументы обеих сторон были исчерпаны.

Укол всё равно делали.

Страшно не было. Только очень не хотелось снова участвовать в процедуре, полезность которой была очевидна всем, кроме меня. Медсёстры терпеливо делали свою работу, а на следующее утро наши переговоры начинались заново.

В палате лежали другие дети. У каждого была своя причина оказаться там, хотя диагнозы нас, разумеется, не особенно интересовали. Кто-то плакал, кто-то смеялся, кто-то спал. Одних детей забирали домой, на освободившихся кроватях появлялись другие, и больничная жизнь продолжалась своим непонятным порядком.

Но даже там дети оставались детьми.

Игрушек было немного, зато окружающий мир при достаточном воображении постоянно предлагал замену. Какая-нибудь совершенно обычная вещь могла неожиданно оказаться интереснее игрушки, купленной в магазине.

Особенно запомнился один мальчик. Он был старше меня. Я не помню его имени, не знаю, почему он оказался в больнице, откуда приехал и что стало с ним потом. В моей жизни он появился совсем ненадолго, но однажды взял прозрачную трубочку от капельницы и сделал из неё маленького дракончика — с рожками, лапками и хвостом.

Я долго крутил его в руках, двигал прозрачные лапки, рассматривал рожки и удивлялся: как можно было увидеть в обыкновенной трубочке такое существо?

Трубка была трубкой.

А он увидел игрушку.

Ни одной другой игрушки из той больницы я не помню.

А эту помню.

Для мальчика это, скорее всего, ничего особенного не значило. Он нашёл трубочку, что-то сделал руками и отдал её маленькому ребёнку в соседней кровати. Возможно, через час уже забыл об этом.

А я не забыл.

В больнице я впервые оказался среди большого количества чужих людей без привычного домашнего мира вокруг. Медсёстры, дети, врачи, родители других детей — у каждого была своя жизнь, свои заботы, свой дом, куда вечером хотелось вернуться.

Но чужими они оставались недолго. Кто-то улыбался, кто-то помогал, кто-то делился чем-нибудь своим, и больничная палата наполнялась людьми, среди которых можно было прожить эти долгие двадцать один день.

А за окном продолжалась обычная жизнь. По дорожкам ходили люди, шевелились ветви деревьев, изредка появлялась машина. Я смотрел туда и ждал момента, когда смогу снова оказаться с другой стороны стекла.

А однажды меня выписали.

За день до моего четвёртого дня рождения.

После двадцати одного дня можно было выйти из палаты, пройти по коридору, покинуть больницу и ехать домой. Я вряд ли понимал значение слова «выписка», зато прекрасно понимал главное:

можно выйти.

На следующий день мне исполнилось четыре года.

Я был дома.

Лучшего подарка нельзя было придумать.

Сама болезнь почти исчезла из памяти. Лекарства тоже. Остались совсем другие вещи: больничное окно, ранние шаги в коридоре, бабушка, которая неизменно появлялась утром, мама, терпеливые медсёстры и мальчик, имени которого я не знаю.

Память вообще странно выбирает, что оставить человеку.

Она могла сохранить болезнь.

А сохранила людей.

И маленького прозрачного дракончика.

За окном всё это время был огромный мир.

Оказалось, что и по эту сторону стекла было чему удивляться.

Три месяца лета

Если город был одним моим миром, то существовал и другой.

Летний.

Каждый год он открывался почти одинаково. Мы приезжали на дачу — и ещё раньше, чем я успевал войти во двор, меня встречал запах жасмина.

Большой куст рос прямо у входа и каждое лето цвёл так пышно, что пройти мимо него незаметно было невозможно. Его сладкий запах смешивался с травой, нагретой землёй, листьями и ещё чем-то совершенно неуловимым, что бывает только в начале лета.

Для меня этот запах означал одно:

Началось!

Впереди были три месяца. Не каникулы… Целая жизнь.

Сам дом тоже был замечательным. Двухэтажный, со странной и очень удобной с точки зрения ребёнка планировкой. На первом этаже находились кухня, столовая, комната родителей и комната сестры, соединённые дверями по кругу. Можно было бежать через одну комнату, потом через другую, третью — и неожиданно для всех снова появиться там, откуда начал.

На втором этаже были наши с братом комнаты.

Но летом дом существовал скорее как место, куда возвращаются. Ведь всё самое интересное находилось снаружи.

Участок был огромным. Росли смородина, крыжовник, малина, клубника. Возле дома стояли две яблони. Что-то постоянно созревало, падало, пахло, требовало попробовать прямо с куста или дерева.

А примерно в ста метрах от дома начинался лес. Настоящий сосновый лес.

Высокие прямые стволы уходили вверх, между ними росли папоротники, земляника и густой мох, а лесные дороги исчезали где-то вдали и словно специально были придуманы для того, чтобы узнать, куда они ведут.

Это был большой заповедник, и животные там существовали не на страницах книг.

Иногда дорогу перебегала лиса. Между деревьями могла мелькнуть косуля. Встречались белки и ежи.

А однажды я встретил кабана.

Вернее, сначала я его увидел, а потом решил, что наше знакомство уже состоялось и продолжать его совершенно необязательно.

Я был на велосипеде. Кабан — нет.

Это давало мне некоторое преимущество.

Я крутил педали настолько быстро, насколько мог, и в тот момент совершенно не размышлял о красоте природы или единении человека с животным миром.

Нужно было ехать. Ехать быстро.

Велосипед был моим лучшим другом на всё лето.

Утро начиналось неторопливо. Впереди был целый день, и сама мысль о том, что куда-то нужно спешить, была почти нелепой.

Одним из моих любимых завтраков была черника.

Я набирал полный стакан ягод, заливал их холодным молоком и ел большой ложкой. Черника лопалась во рту, молоко становилось фиолетовым, а на дне всегда оставалось несколько ягод, которые нужно было обязательно выловить.

До сих пор помню этот вкус.

Стакан черники, холодное молоко… Запах жасмина! А потом я брал велосипед и уезжал.

Иногда в лес. Иногда к морю. Иногда туда — куда глаза глядят.

Никто не выдавал мне маршрут. Не нужно было сообщать каждые полчаса, где я нахожусь. Не существовало телефона, по которому можно было проверить моё местоположение.

Был велосипед. Дорога. И весь день впереди!

Я сворачивал на лесные тропинки только потому, что ещё никогда по ним не ездил. Останавливался, если замечал что-нибудь интересное. Мог изменить весь маршрут только потому, что одна дорога вдруг показалась привлекательнее другой.

Свобода впервые ощущалась именно так.

Не как право делать что угодно. А как возможность самому выбрать, куда сейчас повернуть.

При этом где-то позади всегда оставался дом.

Я знал дорогу обратно. Знал, что вечером там будет семья, разговоры, еда, книги, настольные игры. Поэтому и можно было уезжать так далеко.

Чтобы не бояться дороги, хорошо иметь место, куда можно вернуться.

По пути к морю находилась моя поляна. Ничем не примечательная. Другой человек, скорее всего, проехал бы мимо и даже не повернул головы.

Но для меня она была особенной.

Я оставлял велосипед, ложился в мягкую траву и раскидывал руки.

По краям зрения стояли верхушки сосен. Чуть ниже росла рябина, вокруг были какие-то мелкие оранжевые цветы, а среди травы пряталась земляника. Над головой двигалось небо.

Облака медленно меняли форму. Одно становилось кораблём. Другое — животным. Потом ветер растягивал его, ломал придуманный образ, соединял с соседним облаком, и можно было начинать всё сначала.

Там не происходило ничего.

Поэтому я и любил это место. Можно было несколько минут просто лежать и смотреть вверх.

Не ждать, не искать, не торопиться. Просто смотреть.

А потом снова садиться на велосипед и мчаться на море.

Сначала лес начинал редеть. Потом появлялся песчаный утёс, и где-то там, впереди, уже чувствовался ветер.

Велосипед я оставлял наверху. А вниз бежал.

Не спускался осторожно по песчаному склону, а нёсся вниз, насколько позволяли ноги и песок. Инстинкт самосохранения в том возрасте ещё не вполне сформировался.

И внизу каждый раз происходило одно и то же — открывалось море.

Широкий белый пляж уходил вдаль в обе стороны.

Никаких гостиниц, никаких лежаков, никакой музыки.

Обычно ни одного человека вокруг. Только песок, чайки, ветер и Балтийское море.

Огромное пространство, заканчивавшееся где-то там, где вода соединялась с небом.

Горизонт.

Тогда это было просто слово. Линия вдали.

И мне нравилось смотреть вдаль.

Море возле берега было мелким. Чтобы добраться до глубины, приходилось долго идти по воде, а берег постепенно становился всё меньше.

Иногда волны оставляли на песке кусочки янтаря. Я поднимал их, держал против солнца и рассматривал. В некоторых свет будто застревал внутри. Маленький золотистый камешек лежал на ладони, солнце проходило сквозь него, и мне казалось совершенно удивительным, что море просто взяло и вынесло такую вещь на берег.

Её никто не сделал и не положил туда специально.

Она просто была.

В мире обнаруживалось огромное количество вещей, существовавших без всякой необходимости что-либо мне объяснять.

Лес.

Море.

Облака.

Животные.

Янтарь.

И от этого всё становилось только интереснее.

А вечером я возвращался домой.

Мы собирались всей семьёй, разговаривали, играли в настольные игры, читали. Книги были частью лета так же естественно, как лес или море. День постепенно заканчивался, а завтра можно было снова сесть на велосипед и поехать туда, куда захочется.

Мне казалось, что так будет всегда.

Но один вечер отличался от остальных: я оказался на берегу, когда над морем начала подниматься луна. Сначала над горизонтом появился её край. Красный. Потом она поднялась выше — огромная, яркая, почти нереальная. Такой большой луны я раньше никогда не видел.

Я стоял и смотрел.

Постепенно из воды показался весь красный круг, а от него к горизонту протянулась светящаяся дорожка. На мгновение казалось, будто море всё ещё держит луну за тонкую красную нить и не хочет отпускать в небо.

Потом нить оборвалась. Луна отделилась от горизонта и медленно пошла вверх.

Море темнело. Красный свет менялся. Волны продолжали приходить к берегу, будто ничего особенного не происходило.

А я стоял на пустом пляже и не мог уйти.

Мне не нужно было знать, почему луна кажется такой большой у горизонта, отчего она красная и как возникает дорожка света на воде.

Я просто удивлялся.

Мне не хотелось ничего объяснять… Хотелось смотреть.

Тогда я думал, что эти три месяца будут повторяться всегда. Что каждое лето у калитки будет встречать жасмин. Что лесные дороги никуда не исчезнут. Что на поляне будут двигаться облака, море будет выбрасывать на песок янтарь, а дома вечером будут ждать свои.

Казалось, впереди бесконечно много лета.

Бесконечно много дорог.

И бесконечно много горизонта.

Три дня на болоте

Мне долго казалось, что дорога всегда куда-нибудь ведёт. Но однажды дорога решила иначе.

Лето шло своим привычным порядком: взрослые занимались домом и огородом, мы купались в море, а время от времени всей семьёй отправлялись за грибами или ягодами. Для меня такие походы были настоящими экспедициями. В тот день мы пошли на болото.

Нас было много: мама, бабушка по маминой линии, тётя, двоюродная сестра, мои брат и сестра, я и наша собака. Дедушка остался дома. Он уже был пожилым человеком и длинным походам всё чаще предпочитал спокойный чай на веранде.

Никто, конечно, не собирался уходить надолго.

Мы шли за ягодами.

Болото совсем не выглядело страшным. Скорее наоборот — оно было удивительно интересным. Земля там будто никак не могла решить, чем ей быть: сушей или водой. Под ногами пружинил мох, между кочками темнела вода, тропинки изгибались и исчезали среди травы и низких кустов. Сосны росли реже и были ниже, чем в нашем лесу, и всё пространство было открытым, хотя увидеть далеко всё равно было невозможно. Воздух был влажным, пах мхом, водой, травой и чем-то терпким, лесным.

А ягод было столько, что трудно было остановиться. Мы собирали клюкву, бруснику, морошку, переходили от одной полянки к другой, разговаривали, смеялись, показывали друг другу особенно крупные ягоды. Вёдра тяжелели, время шло, но никто за ним особенно не следил.

В какой-то момент взрослые решили, что достаточно. Пора домой.

И тут выяснилось, что никто не знает, в какую сторону идти.

Сначала это даже не показалось серьёзной проблемой. Мы пришли откуда-то оттуда. Значит, нужно просто идти обратно.

Мы пошли по одной тропинке, потом свернули на другую. Через некоторое время решили, что направление неправильное, вернулись и выбрали третью. Но болото обладало удивительным свойством: чем дольше мы искали знакомое место, тем сильнее всё вокруг станови-

лось похожим само на себя. Такие же кочки, такие же кусты, такие же сосны. Тропинка могла выглядеть совершенно убедительно, а потом раствориться в высокой траве или привести к воде. Иногда кто-нибудь уверенно говорил, что узнаёт место, мы радостно шли за ним, а через полчаса обнаруживали очередной совершенно незнакомый участок болота.

Тогда я впервые услышал слово «ориентир». Взрослые искали ориентиры. Для меня это было новое слово, и смысл его я понял довольно быстро: ориентир — это что-нибудь, по чему наконец можно понять, где ты находишься.

Проблема заключалась в том, что никаких ориентиров вокруг не было.

Зато мой старший брат точно знал, что нужно делать. Время от времени он с полной уверенностью повторял:

— Ну пошли уже домой.

Он говорил это так, будто взрослые зачем-то усложняют совершенно простую задачу. Дом есть. Мы есть. Следовательно, нужно пойти домой. Логика была безупречной. Не хватало только направления.

С нами была наша собака — большая, красивая, белая, с рыжими и чёрными пятнами на спине и морде. Я был совершенно уверен, что уж она-то нас спасёт. Собаки ведь всё находят по запаху.

Она бегала вокруг, принюхивалась, иногда куда-то отходила, возвращалась, смотрела на нас и снова шла вместе со всеми.

Дом она почему-то тоже не находила.

До того дня я считал собачий нос почти сверхъестественным устройством, которое знает ответы на вопросы, недоступные человеку. Оказалось, не на все.

К вечеру стало понятно, что домой сегодня мы, скорее всего, не попадём. Вечерело, воздух становился прохладнее, краски вокруг темнели, а привычный лес, который днём виделся просто большим и интересным, с наступлением темноты становился совсем другим. Комаров было невероятное количество. Будто все комары окрестных болот каким-то образом узнали о нашем появлении и решили воспользоваться редкой возможностью. Они садились на руки, лицо, шею, пищали возле ушей, и сколько ни отмахивайся, на место одного немедленно прилетали несколько новых.

Есть тоже было особенно нечего.

Зато ягод у нас было много.

Мы ведь всё-таки пришли подготовленными к одной задаче. Просто задача неожиданно изменилась.

Первую ночь мы устроились прямо там.

Сейчас, став взрослым, я думаю о пятилетнем ребёнке, который потерялся на болоте, не знает, где находится его дом, и собирается спать под открытым небом. По всем правилам мне следовало бы бояться.

Но я не помню страха.

Помню другое.

Мы легли все вместе, как смогли. Я оказался где-то посередине нашей большой семьи. Бабушка устроилась так, что сразу несколько внуков положили головы на неё. Для одного она стала подушкой, другого обнимала рукой; рядом лежали мама, тётя, брат, сестра, двоюродная сестра. Где-то рядом была собака.

И мне было спокойно.

Вокруг было неизвестно где, но рядом были свои.

Ночью становилось прохладно, вокруг существовал огромный тёмный лес, донимали комары, а дорога домой была неизвестно где. Но в центре этого большого незнакомого мира лежала наша маленькая компания, тесно прижавшись друг к другу. И этого оказалось достаточно, чтобы уснуть.

Утром мир снова стал обычным. Появился свет, деревья снова были просто деревьями, болото — болотом, а главной задачей оставалось найти дорогу.

Мы пошли дальше.

Второй день уже не был похож на прогулку за ягодами. Взрослые внимательно смотрели по сторонам, пытались определить направление, вспоминали, где мы проходили накануне. Чтобы дети меньше думали о том, сколько времени мы уже ходим, с нами разговаривали, придумывали словесные игры, что-то обсуждали. Иногда кто-нибудь вдруг останавливался:

— Я помню это место!

Все оживлялись. Вот теперь точно. Ещё немного — и выйдем.

Мы сворачивали на очередную тропинку, шли по ней, ждали появления чего-нибудь знакомого — и снова ничего. Болото словно переставляло декорации, пока мы не смотрели.

К вечеру второго дня стало понятно, что предстоит ещё одна ночь. Я не знаю, что думали в это время взрослые. Теперь, став взрослым сам, я понимаю, что, если бы они знали, где мы находимся, поводов для спокойствия у них было бы немного. Но детям этого никто не показывал.

И это тоже осталось со мной.

Я помню не панику. Я помню, как мы шли вместе, разговаривали, искали, останавливались и снова шли. Взрослые иногда защищают детей не только от опасности. Иногда — ещё и от собственного страха.

На третий день мы услышали звук, которого в лесу быть не должно. Сначала далёкий, потом всё громче.

Гул.

Мы подняли головы.

Над деревьями появился вертолёт.

Когда мы его увидели, мне сразу стало понятно: дедушка заметил, что мы не вернулись, поднял тревогу, вызвал милицию, спасателей и, возможно, ещё кого-нибудь. В тот момент всё это казалось совершенно очевидным.

Вертолёт летел над деревьями, а мы начали размахивать руками, кричать, подпрыгивать, стараясь показаться среди леса. Взрослые тоже пытались привлечь внимание. Вертолёт летел дальше. Мы кричали громче. Он пролетел мимо. Нас не заметили.

Гул постепенно стих, и снова стало тихо.

Если не считать комаров.

После вертолёта все стали смотреть по сторонам ещё внимательнее. Теперь хотелось не просто найти дорогу — хотелось найти её наконец.

И через какое-то время среди одинаковых деревьев появилось что-то знакомое. Сначала совсем незначительное. Потом ещё одна деталь. Поворот. Тропинка. Мы боялись поверить слишком рано, что действительно вышли туда, куда нужно, но знакомых вещей становилось всё больше.

Вот дорога.

Вот места, которые мы уже точно знаем.

Вот направление, которое больше не нужно угадывать.

Дом.

Через три дня среди деревьев наконец показалась наша дача. Дом стоял посреди леса, и никаких ворот или калиток там не было. Лес заканчивался возле дома, а дом начинался среди леса. Обычно я даже не замечал этой границы.

Но в тот день она существовала.

Мы были дома.

Мы подошли к дому. Дедушка сидел на веранде и пил чай.

Он поднял голову. Увидел нас.

И очень быстро выяснилась удивительная подробность.

Он даже не подозревал, что нас не было три дня.

Мы ушли всей большой компанией за ягодами, и дед решил, что у нас существуют какие-то свои планы. Возможно, думал, что мы где-то остановились, к кому-то зашли или просто решили задержаться.

Вертолёт тоже оказался не нашим.

Никто нас не искал.

Три дня мы самостоятельно спасались из приключения, о существовании которого остальной мир даже не подозревал.

Мы ушли за ягодами. И вернулись с ягодами.

Просто немного позже, чем собирались.

За следующей книгой

Если бы меня попросили описать своё детство одним словом, я выбрал бы слово «интересно».

Мне было интересно почти всё.

Я хотел знать, почему самолёт держится в небе, куда ведёт улица, по которой я ещё ни разу не ходил, что находится за морем и почему один человек может часами рассказывать истории, а другой больше любит слушать. Вопросы возникали сами собой, и каждый ответ не уменьшал их количество, а, наоборот, прибавлял несколько новых.

Игрушки при этом интересовали меня гораздо меньше.

Мне их, конечно, дарили. Я радовался, благодарил, рассматривал новую машинку или ещё какую-нибудь замечательную вещь, а потом довольно быстро откладывал её в сторону. С готовой игрушкой всё было слишком понятно: машинка была машинкой, солдатик — солдатиком. А стул, накрытый одеялом, мог стать чем угодно — кораблём, крепостью, палаткой путешественника или домом где-нибудь на краю света.

Но лучше всего с этой задачей справлялись книги.

Они ничего не объясняли заранее.

Одну из таких книг я как-то дочитывал утром перед школой. На кухне уже шла обычная утренняя жизнь, пора было собираться, а мне оставалось несколько страниц, и расстаться с героями посреди последних событий казалось совершенно невозможным.

Книгу я всё-таки закрыл.

В школу опаздывать не хотелось.

Она находилась совсем рядом с домом, и дорога занимала несколько минут. Я знал на ней каждый двор, каждую дорожку и почти каждое дерево. Но даже знакомая дорога могла однажды измениться, если на ней появилось что-нибудь, чего вчера ещё не было.

Мне нравилось замечать такие вещи.

В школе пахло мелом, краской, деревянными партами и завтраками из столовой. На переменах коридоры мгновенно наполнялись детьми, голосами, шагами и хлопаньем дверей, а потом звенел звонок, все исчезали по классам, и школа снова затихала.

Учиться мне нравилось.

И получалось легко.

В начальных классах я был отличником, хотя довольно быстро обнаружил одну неожиданную вещь: любить узнавать новое и любить уроки — не совсем одно и то же.

Мне хотелось двигаться быстрее.

Иногда учительница объясняла то, что я уже знал, и становилось особенно трудно спокойно сидеть за партой. За окном происходило столько всего, в библиотеке лежало столько

непрочитанных книг, дома можно было открыть энциклопедию и найти ответ на вопрос, который появился утром, — а здесь нужно было ждать, пока весь класс закончит упражнение.

Однажды я решил, что в таком случае в школу можно вообще не ходить.

Несколько дней я оставался дома и читал.

Мама отнеслась к моему решению с таким спокойствием, что сначала мне даже показалось, будто новый порядок всех устраивает.

Меня он устраивал совершенно.

А потом к нам домой пришли учительница, директор и завуч.

Вот это на меня произвело впечатление.

Трое взрослых людей пришли специально для того, чтобы разговаривать со мной о школе.

Я сидел и слушал их с огромным вниманием. Ведь вопрос, который касался меня, взрослые обсуждали не где-то между собой, а со мной самим.

Потом я узнал, что они даже рассматривали возможность перевести меня через класс. Мама думала об этом, но решила оставить всё как есть.

И я вернулся.

Не помню, сильно ли тогда огорчился.

Наверное, не очень.

Учительницу я любил.

Она была молодая, высокая, красивая, с тёмными волосами и, как мне казалось, всё время с новой причёской. Но дело было, конечно, не в причёсках. Она умела разговаривать с детьми так, что хотелось её слушать. И никогда не было ощущения, что вопросы ей мешают.

Для ребёнка это очень важно.

Когда тебе интересно что-то узнать, а взрослому интересно тебе ответить, между вами возникает особое доверие. Один ещё почти ничего не знает, другой знает намного больше, и несколько минут они вместе смотрят на одну и ту же вещь.

Потом звучит звонок.

И можно бежать на улицу.

В одном из соседних домов жил весёлый мальчик, с которым мы часто встречались после школы. Его дом было невозможно перепутать: почти у всех хрущёвок вокруг балконы были коричневыми, а там — зелёными.

Мы виделись раз или два в неделю и почти всегда что-нибудь придумывали. Лазали по деревьям, исследовали дворы, строили какие-то совершенно необходимые сооружения, назначение которых теперь невозможно вспомнить. Из пластиковых бутылок делали обливалки и испытывали их на прохожих, что, разумеется, казалось гораздо смешнее нам, чем прохожим.

В детстве вообще очень интересно проверять мир вопросом: «А что будет, если?..»

Что будет, если залезть повыше? Если свернуть туда, куда обычно не ходим? Если налить в бутылку воды, проделать отверстие и хорошенько нажать?

Большинство великих открытий мы, конечно, не совершили.

Зато ответы получали регулярно.

Тогда я ещё не мог знать, что мальчик из дома с зелёными балконами останется в моей жизни на многие десятилетия. В раннем возрасте редко думаешь о дружбе как о чём-то, что нужно измерять годами. Человек просто есть. Сегодня вы вместе лезете на дерево, через неделю спорите из-за какой-нибудь ерунды, потом снова куда-то идёте.

А годы начинают считать гораздо позже.

Особенно хорошо мне почему-то запомнился один совершенно обычный день.

Была середина мая.

После школы я шёл домой один. Солнце уже хорошо прогрело улицы, но летней жары ещё не было. Деревья покрылись молодой светлой зеленью, в открытых окнах шевелились зана-

вески, где-то во дворе дети гоняли мяч, а вдоль дорожек цвела сирень — белая, сиреневая, густая тёмно-фиолетовая.

Её запах плыл между домами вместе с тёплым ветром, иногда исчезал, а потом возвращался снова.

Я шёл медленно.

Не потому, что устал.

Просто торопиться было некуда.

Именно такие дни по какой-то причине остаются в памяти лучше событий, которые в тот момент казались важными. Я не помню, что отвечал у доски, какую отметку получил и о чём разговаривал на перемене. Зато тот воздух, солнце на стенах домов и запах сирени помню до сих пор.

Дома мама отправила меня в магазин за хлебом и молоком.

Магазин был совсем рядом, и это поручение не воспринималось как обязанность. Скорее как ещё один небольшой маршрут по знакомому миру.

Молоко тогда продавали в стеклянных бутылках, закрытых тонкой цветной фольгой. По цвету крышки можно было ещё издалека понять, что находится внутри: синяя — молоко, зелёная — кефир, розовая — ряженка.

Мне нравилась эта понятная система.

Рядом с хлебом лежали сладкие рогалики. Свежие пахли так, что донести один до дома целым требовало гораздо большей силы характера, чем многие школьные задания.

Не уверен, что её у меня всегда хватало.

Из магазина я вышел с хлебом и бутылкой молока, а потом вспомнил о книге.

Утром я дочитал её.

Значит, нужна была следующая.

Библиотека находилась в нескольких минутах ходьбы, в небольшом одноэтажном домике рядом с прачечной. Я ходил туда один примерно с шести лет, и никому это не казалось чем-то особенным. В библиотеку, в школу, в магазин, во двор — детский мир был довольно большим, и взрослые почему-то верили, что мы уже умеем в нём жить.

Я зашёл внутрь.

После яркого света там сначала было немного темно. Пахло книгами — бумагой, картоном, пылью и тем особенным библиотечным запахом, который невозможно спутать ни с чем.

За стойкой сидела пожилая библиотекарь.

Она давно знала меня в лицо.

Увидев книгу в моей руке, улыбнулась:

— Ну что, прочитал?

— Прочитал.

Она взяла книгу, посмотрела на обложку и спросила:

— Понравилась?

Я кивнул.

Похоже, ей действительно было интересно.

Не сколько страниц я прочитал и не вовремя ли вернул книгу, а понравилась ли она мне.

Потом она вставала и шла к полкам, а я шёл следом.

Возможно, в этом и заключалась одна из первых привилегий постоянного читателя: мне не обязательно было знать, что я ищу.

Она знала, что предложить.

Больше всего я любил приключения. Истории о путешествиях, далёких странах, сыщиках, моряках, индейцах, людях, которые попадали в трудные обстоятельства и должны были выбирать, как поступить. Особенно мне нравились герои, которые держали слово.

В книгах вообще очень быстро выяснялось, что люди бывают разными.

Один убегает, другой остаётся. Один обманывает, другой зачем-то говорит правду, хотя ему самому от этого хуже. Один думает только о себе, другой возвращается за товарищем.

Я тогда ещё не понимал слова «характер» во всём его взрослом значении. Но уже чувствовал, что люди интереснее всего в первую очередь своими поступками.

Библиотекарь сняла с полки книгу и протянула мне.

— Попробуй эту.

Я посмотрел на обложку.

Незнакомое название.

То, что нужно!

Мне нравилось брать книгу, о которой я ещё ничего не знал. Несколько сотен страниц были уже напечатаны, история давно существовала от начала до конца, а для меня за обложкой оставался целый мир, в котором я ещё ни с кем не познакомился, никуда не отправился и понятия не имел, что ждёт меня дальше.

Нужно было только открыть первую страницу.

Я вышел из библиотеки. После прохладного полумрака солнце казалось особенно ярким. Где-то за домами шумела улица, во дворах продолжалась своя жизнь, а до дома оставалось совсем немного.

В одной руке я нёс хлеб и молоко, в другой — новую книгу.

Мне было восемь или девять лет. Впереди был вечер, потом следующий день, потом лето, и времени, казалось, было ещё бесконечно много. Я шёл знакомой дорогой домой, где меня ждали, и на сегодня мира вполне хватало.

А когда закончится эта книга, можно будет снова прийти в маленький домик возле прачечной.

За следующей.

Залы и купола

В детстве я ещё не знал, что красоту тоже нужно учиться замечать.

Тогда я этого, конечно, не понимал. Мне казалось, что красивое должно сразу заявить о себе: быть большим, ярким, необычным, таким, мимо чего невозможно пройти. Гораздо позже я понял, что настоящая красота часто ведёт себя совсем иначе. Она ничего не требует. Можно пройти мимо неё, не остановиться, не поднять головы, не увидеть света на старом камне или маленькой фигуры в углу огромного полотна.

Мама так часто говорила:

— Посмотри.

Не просто «смотри».

Посмотри.

Будто рядом всегда находилось что-то, чего я ещё не заметил.

Когда я был ребёнком, мы много путешествовали. Тогда ещё существовал Советский Союз, и для многодетной семьи такие поездки были вполне доступны. Иногда всё происходило почти стремительно: в пятницу после школы мы ехали в аэропорт, садились в самолёт, а через несколько часов выходили уже в другом городе.

Самолёт сам по себе был приключением. Аэропорт, объявления из динамиков, маленькие овальные окна, облака далеко внизу — всё это означало, что привычная жизнь на несколько дней закончилась.

Москва. Ленинград. Другие города и республики.

Названия превращались в улицы, площади, незнакомые дома, гостиничные комнаты и людей, которых мы никогда раньше не видели.

А потом мама говорила:

— Сегодня идём в музей.

Слово «сегодня» иногда означало, что музей будет не один.

У мамы был удивительный талант вместить в один день значительно больше, чем, по моему детскому мнению, в нём могло поместиться. Но стоило открыть тяжёлую музейную дверь, как город оставался снаружи.

Менялся даже звук.

Ещё несколько секунд назад вокруг ехали машины, разговаривали люди, хлопали двери, где-то звенел трамвай, а здесь шаги вдруг становились отчётливыми и голоса сами собой опускались до полушёпота.

Начинался другой мир.

Анфилады залов уходили одна за другой, и каждый следующий открывался внутри предыдущего, словно огромный дом никак не хотел заканчиваться. Высокие плафоны терялись среди лепнины и позолоты. На стенах выступали фризы и барельефы. Мраморные лестницы расходились в стороны, колонны поднимались к сводам, а огромные люстры висели так высоко, что мне иногда было интереснее разглядывать их, чем картины.

Наборный паркет тихо отзывался под ногами. Он был гладким, тёмным, натёртым до мягкого блеска и казался очень старым. Мне нравилось думать, сколько людей прошло по нему до нас.

Сто лет назад. Двести.

Может быть, кто-то стоял на этом же месте и смотрел на ту же картину.

Для ребёнка двести лет — почти вечность.

И всё же картина была здесь.

Я ещё не знал слова «преемственность». Не понимал, что человек способен оставить после себя не только детей, дом или имя, но и мысль, линию, музыку, цвет — что-то такое, что переживёт его самого и однажды встретится с мальчиком, родившимся через несколько столетий.

Я просто стоял перед картиной и смотрел.

Мне нравилась живопись, особенно та, в которой невозможно было понять, как это сделано.

Подойдёшь ближе — краска.

Отойдёшь на несколько шагов — вода.

Свет.

Бархат.

Кожа.

Облака.

Металл, на котором вдруг появляется отблеск окна, хотя никакого окна на картине почти не видно.

Слова «перспектива», «светотень», «лессировка» были как заклинания для меня. Понятия не имел, зачем художнику нужен холодный оттенок рядом с тёплым и почему несколько мазков на расстоянии превращаются в человеческое лицо.

Но именно незнание и делало всё ещё интереснее.

Можно не понимать — и восхищаться.

Нам порой кажется, что сначала нужно узнать название, разобраться в технике, прочитать табличку, выяснить год создания — и только потом получить право сказать: красиво.

Ребёнку такое разрешение не требуется. Он смотрит.

И если сердце почему-то задержалось — значит, достаточно.

Особенно долго я мог стоять перед полотнами Айвазовского.

Море на них не было неподвижным. Оно жило. В одном месте вода почти светилась изнутри, в другом становилась тяжёлой, тёмной, почти чёрной. Над ней собирались облака, где-то далеко белел парус, а волна на переднем плане уже поднималась так, будто через мгновение должна была обрушиться за пределы рамы.

Мне хотелось подойти ближе. Проверить неужели всё это действительно нарисовано?

Кто бы тогда мог подумать, что однажды я буду смотреть на настоящий горизонт часами. Что увижу океан всех возможных оттенков — спокойным, как стекло, и бушующим так, что огромный корабль покажется рядом с ним маленьким. Что буду знать море не только по солнечным дорожкам, но и по ветру, шторму, ночным вахтам и той особенной черноте воды, которая бывает далеко от берега.

Пока всё это помещалось в раму.

И мне это уже нравилось.

Позже, в Дрездене, я увидел «Сикстинскую Мадонну».

Но перед ней даже взрослые вели себя иначе. Они переставали торопиться. Говорили тише. Стояли дольше, чем перед другими картинами.

И ты тоже начинал смотреть внимательнее, хотя ещё не знал почему.

Восхищение заразительно.

Когда рядом с тобой человек искренне любит музыку, картину, город, книгу или кусочек старого камня, ты сначала смотришь не на предмет его любви.

Ты смотришь на него. А потом пытаешься увидеть то, что увидел он.

Так мама показывала нам красоту.

Не объясняя, что мы обязаны ею восхищаться, а восхищаясь сама.

Конечно, иногда её восхищение продолжалось значительно дольше нашего.

После нескольких часов музейного великолепия даже шедевры начинали подозрительно походить друг на друга. Ноги болели, следующий зал естественно снова оказывался не последним, а мама могла остановиться перед одной картиной с таким вниманием, словно художник оставил там послание лично для неё.

Мы переглядывались, переминались с ноги на ногу и вздыхали достаточно выразительно, чтобы наши страдания были замечены.

Мама замечала. Но картину всё равно досматривала.

Тогда мне казалось совершенно невероятным, что взрослый человек по собственной воле может столько времени смотреть на стену.

Теперь это вспоминается с улыбкой.

Рембрандт был другим.

Если Айвазовский открывал пространство, то у Рембрандта мне хотелось всматриваться в темноту.

Я не мог объяснить, почему человеческое лицо, выступающее из полумрака, выглядит живее множества ярких изображений. Свет там не просто освещал предметы. Казалось, он выбирал, что тебе показать.

Лицо.

Руку.

Край ткани.

Взгляд.

А всё остальное оставлял тайной.

Тогда я впервые почувствовал: для того чтобы увидеть больше, не всегда нужно добавить света.

Иногда нужно внимательнее посмотреть в полумрак.

Память странно распоряжается сокровищами.

Она может забыть название картины, но сохранить свет на её раме. Забыть целый зал, но оставить звук шагов по паркету. Забыть дату путешествия, но помнить, как мама остановилась перед чем-то и тихо сказала:

— Посмотри, как красиво.

Примерно в те же годы в нашей жизни всё больше места стала занимать церковь.

Мама пришла к вере искренне и глубоко. То, что стало важным для неё, естественным образом вошло и в нашу жизнь: всенощные бдения, литургии, молебны, акафисты, исповеди, причастия, праздники.

Для меня всё это сначала было не богословием.

Это был ещё один огромный мир.

Стоило открыть тяжёлую дверь храма, как внешний мир оставался за спиной. В полумраке горели свечи, мерцали лампады, золото иконостаса ловило свет маленькими вспышками, а где-то высоко над всем этим терялся купол.

Иногда сквозь верхние окна падал солнечный луч, и в нём становились видны мельчайшие частицы, медленно плывущие в воздухе. Где-то рядом курилось кадило, и тонкая дымка ладана поднималась вверх, растворяясь в свете.

Для ребёнка купол был почти небом.

А потом начинал петь хор.

Несколько человеческих голосов вдруг переставали быть отдельными голосами. Звук поднимался к сводам, отражался, возвращался и снова уходил вверх, так что невозможно было понять, откуда именно он идёт.

Казалось, пело само пространство.

Со временем мне разрешили помогать священнику. Я стал чем-то вроде маленького пономаря, и передо мной неожиданно открылась часть мира, которую большинство людей видело только издалека.

Алтарь.

Царские врата.

Проскомидия перед литургией.

Кадило, потир, дискос, дарохранительница — слова сами по себе казались древними и немного таинственными. У каждого предмета было своё место и назначение. У каждого действия — порядок.

Последовательность действий, повторявшихся веками.

Ты ещё почти ничего не знаешь об истории, поэтому сто лет и тысяча лет отличаются не так уж сильно. И всё же каким-то образом понимаешь: это началось задолго до тебя.

И не закончится, когда ты уйдёшь домой.

Я наблюдал за священниками и диаконами, помогал готовить аналои, узнавал названия предметов, следил за тем, что и когда нужно делать, и чувствовал себя обладателем удивительной тайны.

Не потому, что от других что-то скрывали.

Я увидел изнутри то, что прежде видел только снаружи.

Отец относился к маминой вере спокойно. Он не разделял её увлечённости церковью, но и не пытался с ней спорить.

В нашем доме можно было любить разное. Можно было верить по-разному. Можно было искать свои ответы.

Любовь не требовала одинаковости.

Музеи и храмы в моём детстве стояли гораздо ближе друг к другу, чем я понимал тогда.

В одном месте люди сохраняли то прекрасное, что сумел создать человек. В другом — веками приносили самое прекрасное из того, что умели создавать, тому, что считали выше себя.

Художник писал икону. Архитектор поднимал купол. Каменщик выводил арку. Резчик покрывал дерево узором. Певчий отдавал свой голос.

Кто-то расписывал потолок, зная, что большинство людей никогда даже не узнает его имени.

В этом есть особый вид любви — сделать что-то прекрасное не только для себя. Оставить после себя красоту, которой будут восхищаться незнакомые тебе люди.

Я был одним из таких незнакомых людей. Ходил по залам. Задирал голову под куполами. Смотрел на море, которое никогда не двигалось и всё-таки было живым. Слушал хор, чей звук невозможно было удержать — он возникал, наполнял храм и исчезал.

И удивлялся.

Теперь я считаю, что во всём этом удивление и было самым важным.

Мама дала нам очень много.

Но среди её подарков есть один, который невозможно положить в коробку, купить или оставить в наследство.

Мама останавливалась рядом, смотрела куда-то и говорила:

— Посмотри.

И мир становился больше.

За кадром

Однажды мне разрешили зайти туда, куда зрителей обычно не пускают. За кадр.

Мне было семь или восемь лет, когда Латвийская киностудия начала снимать фильм о послевоенном времени. Фильм был серьёзный, взрослый, немного философский — о людях, их воспоминаниях, разговорах и решениях. Мне досталась роль обычного мальчишки. Не героя, не маленького гения, а обыкновенного мальчика со двора. Скорее всего, именно такой я им и был нужен.

До этого кино существовало для меня только по одну сторону экрана. Люди там входили в комнаты, разговаривали, ехали куда-то, ссорились, мирились, смотрели в окно, и всё происходило совершенно естественно. Мне даже в голову не приходило задумываться, что находится за границей кадра. На киностудии оказалось, что там находится целый мир.

Первое время я только и делал, что вертел головой по сторонам. Огромные павильоны, декорации, которые с одной стороны выглядели настоящей комнатой, а с другой — чем-то совсем непонятным, камеры на тяжёлых штативах, кабели под ногами, гримёрные, костюмерные, реквизит и люди, которые куда-то спешили, что-то переносили, обсуждали, измеряли и переставляли. В павильоне пахло краской, пылью, тканью декораций и горячим светом прожекторов.

Особенно меня поразил свет. До этого он существовал сам по себе: солнце светило с неба, дома зажигали лампу, в храме горели свечи. А здесь светом управляли. Огромный прожектор немного поворачивали — и лицо человека менялось. Перед ним ставили какую-то раму или экран — и обычная стена внезапно приобретала глубину. Свет можно было направить, смягчить, убрать или создать. Это было почти колдовством.

Но самое интересное начиналось, когда всё было готово. Несколько минут вокруг двигали приборы, поправляли одежду, переставляли предметы, что-то обсуждали, проверяли камеру. Потом звучала команда — и весь этот шумный мир вмиг замирал. Наступала тишина. Актёры начинали говорить, и несколько минут существовала другая реальность. Потом звучало:

— Стоп!

И всё мгновенно оживало. Кто-то снова подходил к камере, кто-то поправлял декорацию, кто-то говорил, что нужно повторить. Актёр, который секунду назад переживал тяжёлый момент своей жизни, совершенно спокойно мог спросить что-нибудь у стоящего рядом человека. Через несколько минут всё начиналось сначала.

Мне это ужасно нравилось.

Особенно интересно было наблюдать, как взрослые создают прошлое. Фильм рассказывал о послевоенных годах, и вокруг постепенно возникало время, в котором я никогда не жил: другая одежда, мебель, старые предметы быта. Причём настоящей должна была казаться не только комната целиком — настоящей должна была быть каждая мелочь. Если на столе лежала вещь, которой в те годы быть не могло, её убирали. Если складка одежды ложилась не так, костюмер подходил и поправлял её. Если что-то в декорации выбивалось из времени, это замечал человек, существование которого зритель никогда не увидит даже в титрах.

Десятки взрослых людей тратили силы на то, чтобы зритель потом ничего не заметил. Чтобы он просто поверил.

По сценарию у меня был отец — не настоящий, конечно, а отец моего героя. Мы разговаривали в кадре, я задавал ему вопросы, что-то рассказывал, а он отвечал мне с той взрослой серьёзностью, которая требовалась по сюжету. Потом звучало «Стоп!» — и он снова становился актёром.

В тот момент я впервые заинтересовался не только тем, что человек делает, но и тем, как он это делает. Я смотрел на режиссёра, оператора, осветителей, художников, костюмеров. Каждый видел что-то своё. Там, где я видел просто человека возле стола, оператор видел кадр, осветитель — тень на лице, костюмер — складку на рукаве, художник — предмет, который не должен стоять на заднем плане. А режиссёр каким-то образом должен был видеть всё сразу.

Из множества совершенно разных действий возникало одно целое.

Хотя иногда всё огромное кинопроизводство останавливалось из-за задачи значительно более серьёзной.

Из-за моих ушей.

Для одной сцены мне зачем-то понадобилось ими пошевелить. Я попробовал. Ничего. Попробовал ещё раз. Уши не проявляли ни малейшего желания участвовать в съёмках.

И тут выяснилось, что у взрослых существует удивительное свойство: если перед группой людей поставить достаточно бессмысленную задачу, через несколько минут все начинают решать её с полной серьёзностью.

Кто-то сказал, что нужно напрячь затылок. Я напряг. Уши остались на месте. Кто-то пытался объяснить, какую именно мышцу следует почувствовать. Я понятия не имел, где она находится. Один человек показал на себе — у него получилось. Это вызвало всеобщее оживление. Тут же выяснилось, что кто-то умеет двигать одним ухом, кто-то обоими, а большинство советчиков, как и я, не умеют вообще.

Вскоре вокруг меня стояла небольшая группа взрослых людей, занятых важнейшей проблемой советского кинематографа: как заставить семилетнего мальчика пошевелить ушами.

Я честно старался. Не помню, удалось ли в конце концов снять тот дубль, который так сильно был нужен. Зато прекрасно помню взрослых, которые смеялись вместе со мной.

Взрослые не всё время взрослые. Просто дети об этом не сразу узнают.

Съёмки продолжались довольно долго. А потом меняться начало уже не кино. Менялась настоящая жизнь. Страна, в которой начались эти съёмки, вскоре исчезла с карты. Менялись времена, планы, возможности, судьбы людей. Наш фильм тоже не был закончен.

Но я не расстроился.

Самое интересное уже произошло. Я увидел кино с той стороны, с которой его обычно не видно. Узнал, что комната может оказаться всего лишь декорацией, что прошлое можно собрать из мебели, одежды, света и человеческих голосов, что несколько минут на экране ино-

гда требуют целого дня работы и что вокруг одного актёра стоят десятки людей, без которых никакого актёра на экране не будет.

И что чудо совсем не обязательно исчезает, когда узнаёшь, как оно устроено.

Зритель садится перед экраном. Гаснет свет.

Начинается фильм.

Волк

До девяти лет приключения в основном жили в книгах. А потом мне дали рюкзак — и приключение началось.

В первом скаутском лагере привычные правила мира будто немного изменились. Вместо комнаты появилась палатка, вместо кухни — костёр, вместо улиц — лесные тропинки. Вокруг было два десятка ещё незнакомых ребят, но проходило несколько дней, и мы уже вместе шли в лес, готовили еду, выполняли задания, спорили о том, куда повернуть, смеялись над событиями дня и вечером забирались в палатки с таким количеством общих историй, будто были знакомы гораздо дольше.

Отряд делился на небольшие группы — звенья. У каждого было своё имя: Орлы, Рыси, Медведи, Лисы. Очень быстро звено становилось своей маленькой командой, где отвечаешь уже не только за себя. Там вообще удивительно быстро исчезало деление на знакомых и незнакомых: сегодня вы впервые встретились, а завтра уже тащите вдвоём тяжёлое бревно, делите последние сухари или пытаетесь под дождём разжечь костёр, который категорически не желает разгораться.

Но существовали имена ещё интереснее — лесные. Их нельзя было придумать себе самому. Имя давали другие, когда успевали узнать человека и заметить в нём что-то характерное.

Мне дали имя Волк.

Почему? Я не спрашивал. Но имя мне понравилось сразу. Очень.

В палатках мы обычно жили по трое. Днём они казались удивительно маленькими: рюкзаки, спальные мешки, форма, кружки, ботинки и множество совершенно необходимых вещей каким-то образом занимали всё свободное место. Зато после отбоя палатка превращалась в нашу маленькую территорию, где можно было ещё долго обсуждать прошедший день, вспоминать, кто что натворил, строить планы на завтра и рассказывать истории, пока кто-нибудь не замолкал посреди фразы, потому что уже спал.

А утром раньше нас просыпался лес. За тонкой тканью палатки кричали птицы, ветер шевелил верхушки сосен, где-то поблизости начинали переговариваться первые проснувшиеся. Потом открывался полог, внутрь врывался прохладный воздух — и начинался новый день, в котором почти наверняка должно было произойти что-нибудь интересное.

Даже дорога в лагерь становилась частью приключения. Огромный рюкзак за спиной, друзья на перроне, билеты, вагоны, гудок локомотива — и вот поезд медленно трогается, вокзал начинает уплывать назад, а вместе с ним остаётся привычная жизнь. Особенно хороши были ночные переезды: засыпаешь под перестук колёс, иногда просыпаешься на какой-нибудь тёмной станции, где за окном горят несколько фонарей и ходят незнакомые люди, снова проваливаешься в сон, а утром отдёргиваешь занавеску и видишь уже другие дома, другие станции, иногда вывески на другом языке.

Мы ездили по Латвии, в соседние страны, на большие международные слёты, и карта из школьного учебника постепенно переставала быть картой. Цветные пятна с названиями превращались в дороги, вокзалы, леса, города и людей, с которыми можно познакомиться. Рас-

стояния, которые на бумаге казались огромными, оказывались всего лишь одной или несколькими ночами в поезде.

Мир становился больше — и одновременно ближе.

Одной из любимых игр было похищение флага. Большой участок леса делили между командами, и нужно было одновременно защитить свой флаг и добраться до чужого. Мы выставляли дозоры, отправляли разведчиков, придумывали обходные маршруты и обсуждали операции с такой серьёзностью, будто от них действительно зависела судьба лагеря.

Однажды мы почти час ползли через мокрую траву к лагерю другой команды. Через некоторое время начинаешь замечать каждую ветку перед лицом, любой хруст кажется оглушительным, а поднятая рука человека впереди мгновенно останавливает всю цепочку. Несколько метров, остановка, ещё немного — и когда мы наконец добрались до флага, сорвали его и успели скрыться раньше, чем поднялась тревога, радость была совершенно настоящей.

Взрослый назвал бы это детской игрой, но мы бы с ним не согласились.

Не меньше меня увлекало следопытство. У леса обнаружился свой язык, и постепенно мы учились его читать. Примятая трава, сломанная ветка, след ботинка на влажной земле, рисунок велосипедной шины на дороге — всё, мимо чего раньше я прошёл бы не заметив, теперь превращалось в маленькую историю.

Кто здесь был? Один человек или несколько? Давно ли они прошли? Куда направились?

Мне нравилось, что никто не давал готового ответа. Нужно было смотреть, сравнивать, замечать и ошибаться, а потом увидеть ещё одну мелочь и понять, что произошло. Это было чем-то похоже на чтение хорошей книги, только страницы лежали прямо под ногами.

С картой и компасом происходило ещё одно маленькое чудо. Незнакомый лес переставал быть просто множеством деревьев. В нём появлялись направления, расстояния и ориентиры. Нужно было сопоставить линии на бумаге с дорогой, ручьём, поляной или изгибом леса, выбрать путь, а потом проверить, правильно ли ты понял пространство вокруг себя.

Иногда контрольная точка находилась почти сразу. Иногда мы долго и уверенно шли совсем не туда.

Второе, конечно, запоминалось лучше.

Скаутская жизнь удивительным образом соединяла свободу и порядок. Там было много правил: отвечать за свои обязанности, держать слово, помогать другим, знать, что делать, если кто-то потерялся или поранился, не бросать товарища и не оставлять после себя беспорядок.

Такие правила мне нравились: каждое из них было для чего-то нужно. Гораздо интереснее складывались мои отношения с требованиями, которые существовали просто потому, что «так положено».

Этот ответ почти неизбежно рождал следующий вопрос:

— А что будет, если сделать иначе?

Мне нравился порядок, когда он помогал делу, а любой забор всё равно хотелось хотя бы мысленно рассмотреть с другой стороны.

Скаутов учили очень многому: оказывать первую помощь, завязывать узлы, ориентироваться, готовить на костре, пользоваться азбукой Морзе, наблюдать, фотографировать. За освоенные специальности выдавали нашивки, и постепенно рукав формы превращался почти в биографию: по нему можно было понять, что человек уже знает и умеет.

Но скаутизм был не только про испытания. Ещё больше он был про людей.

Иногда лагерь был небольшим, и через несколько дней ты уже знал почти каждого. А иногда на одном огромном пространстве собирались тысячи скаутов из разных стран, и возникал целый временный город. Между рядами палаток ходили люди в разной форме, отовсюду доносилась речь на разных языках, кто-то строил из брёвен башни и ворота, кто-то готовил, соревновался, пел или учил других тому, что умел сам. Можно было почти не знать языка

человека, с которым познакомился утром, и уже днём вместе что-нибудь строить, объясняясь жестами, отдельными словами и смехом.

Детская дружба вообще не требует долгих переговоров. Иногда достаточно вместе куда-нибудь пойти.

А вечером был костёр. После длинного дня все собирались вокруг огня. Кто-нибудь приносил гитару, за соснами темнело небо, лица напротив то освещались пламенем, то снова уходили в полумрак. Мы пели о дружбе, дорогах и дальних местах, в которых большинство из нас ещё никогда не было.

И обязательно рассказывали истории.

Однажды один из руководителей рассказывал что-то настолько увлекательно, что вокруг костра стало необычно тихо. Нам принесли чай, мы пили его, слушали, кто-то наливал ещё, но рассказ продолжался, и никто особенно ни на что не отвлекался.

Потом подошёл человек, который опоздал к началу. Взял кружку, сделал большой глоток и удивлённо спросил:

— А чего чай солёный?

Несколько секунд все молчали. Кто-то осторожно отпил из своей кружки. Потом ещё кто-то. И только тогда несколько десятков человек одновременно обнаружили, что чай действительно солёный.

Каким-то образом его приготовили на морской воде.

Самое удивительное было даже не это. Мы успели выпить довольно много и ничего не заметили.

Рассказ оказался сильнее вкусовых рецепторов.

А через две недели этот огромный палаточный город исчезал. Одним из главных правил было оставить после себя лес таким, каким он встретил нас. Мы собирали всё до последней бумажки, приводили в порядок землю, засыпали кострища, снова обходили территорию.

После нас лес должен был остаться лесом.

Мне до сих пор нравится эта простая идея: не всякое место, в которое ты пришёл, обязано хранить след твоего присутствия. Иногда лучший след — тот, которого не осталось.

Сколько всего происходило в тех лагерях, теперь уже трудно перечислить: поезда и палатки, игры в лесу, походы, костры, друзья, новые страны, потерянные тропы и найденные контрольные пункты, смешные истории, серьёзные испытания и вечное ощущение, что завтра обязательно будет что-нибудь ещё.

Мне было девять лет. За спиной был рюкзак, впереди — дорога.

Приключения больше не жили только в книгах.

Окно в другой мир

Мне было тринадцать, когда домой принесли большую коробку.

В середине девяностых домашний компьютер был вещью почти невероятной. Сегодня трудно объяснить человеку, выросшему среди смартфонов и интернета, что значила такая коробка для тринадцатилетнего мальчишки. Компьютер тогда был не просто техникой. Это было что-то крутое, редкое и почти космическое. У большинства моих одноклассников его не было.

А у меня появился.

Первые годы после распада Советского Союза оказались тяжёлыми. Отец несколько лет почти не работал. Рейсы, которые раньше были обычной частью нашей жизни, стали редкими и потому особенно важными. Денег было мало. Бывали времена, когда мы жили почти впро-

голодь, и я уже в тринадцать лет прекрасно понимал, что такое деньги и сколько стоит большая покупка.

Поэтому я понимал и другое: компьютер был для нашей семьи очень дорогой вещью.

Но мама и папа всё равно его купили.

Я был им благодарен. Может быть, тогда я ещё не умел правильно выразить эту благодарность и не мог объяснить её такими словами, какими объяснил бы сейчас. Но я точно понимал главное: в трудное время родители нашли возможность подарить мне то, о чём я мечтал.

Для меня это был не просто компьютер.

Это был подарок, который я запомнил.

Нажимаешь кнопку, что-то начинает гудеть, экран оживает — и ты совершенно не знаешь, что с этим делать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.